

Александр Дорошенко

## «Отпусти мой народ...»

### Дети нашего двора\*



Детство мое!  
Мой расстрелянный мир!  
Милое детство?!

Иосиф Уткин. Милое детство

Такие глаза – все, что у нас есть!  
Наш опознавательный знак,  
знак принадлежности к людям.

Если бы удалось обернуть развитие вспять, какой-то окольной дорогой еще раз пробраться в детство, снова пережить его полностью и неохватность, – это стало бы обретением «гениальной эпохи», «мессианской поры», которую су-

лят и которой клянутся все мифологии мира. Моя мечта – «дорастить» до детства. Только тогда и пришла бы к нам настоящая зрелость\*\*.

Бруно Шульц

---

\* Из новой книги.

\*\* Из письма Анджею Плесневичу, 04.03.1936 г.

## Новелла первая Детство человечества

«За чужую печаль  
и за чье-то незваное детство  
нам воздастся огнем и мечом,  
и позором вранья...»\*



Что они там такое задумали, с этой продранной картонкой?

Один из них – это я. Мы сидим на пороге нашего дома. Сейчас бабушка позовет меня, крикнув в дворовое пространство, не глядя, где я, зная, что неподалеку. И я, еще маленький, вот такой, как этот, крайний ко мне, побегу на зов. Разве что я был подстрижен короче, и свитер на мне, даже драный, был непременно залатан. Сандалии были такими же, и еще не были изобретены носки с поддерживающей ре-

зинкой. Эра таких продвинутых носков пришла позже, и я до конца школы ходил с резиновыми ножными подтяжками.

Человек за моей спиной, входящий в дом и несущий лучковую пилу, мой дед Гордей. Название «лучковая» образовалось от древней памяти, от натянутой тетивы, от лука\*\*. Мы делали себе луки из подходящих упругостью веток, делали стрелы, и наконецником у них, дающим целевую дальность полета, была намотка из медной проволоки. Но это по возрасту чуть попозже.

\* Александр Галич.

\*\* «Лучковая пила» – от лука с колчаном разящих стрел, а украинская цибуля, тоже именуемая луком, как получилась? От огненной пронзающей остроты вкуса?

Делали рогатки с резиновой тетивой, висящей, натягиваемой по силе и дальности полета, с кожаной сумочкой для камушка, и это тоже древнее, еще древнее лука со стрелами. Мы как бы проходили весь путь человечества, от его становления до школы, где этот свободный поиск кончался принуждением и неволей.

Так мальчишка Давид однажды вышел навстречу врагу и поразил его из пращи, врага, вооруженного до зубов всей братоубийственной техникой...

Позже мы изобретали первое колесо, и наши тачанки из плоской доски на подшипниках, благо и завод подшипниковый был у нас под рукой, со скрежетом бороздили бульжные поля молдаванских тротуаров. Это называлось «самокат». Какое чудное слово, кто его выдумал, самокат, и только русский язык позволяет такое.

По улицам, там, где позволяет уклон, неслись наперегонки наши деревянные кони.

А это, пожалуй, я где-то в 1939 году, за четыре года до моего реального появления на свет. Точно такая была у меня кепка, точно вот этим взглядом смотрел я на окружающий мир. А насчет дров, так в нашей семье именно я их заготавливал для кухонной печи и грубы. А ниже я снят с корешами у входа в подzemелье, где они все тогда жили.

Мои кореша с Молдаванки (это, правда, Варшава, Крахмальная улица, еврейский район). Вход в подвалы, где живут двадцать семь еврейских семей. Буквально дети подzemелья. Илья Ильф, когда увидел эту улицу, тоже сказал, что это все Молдаванка.

Мое молдаванское детство. Мы были так одеты и так выглядели. На мне была именно такая кепка, как на этом с краю сидящем мальчишке, рукава свитера вот также выглядывали из рукавов пальто или куртки.

И у меня был вот такой искоса изучающий взгляд.

*Катакомбы* под ногами, небо над головой. Только это не катакомбы, они там живут, в этой дыре, в подполье, подzemелье, там, где виден ребенок, только еще глубже. У нас во дворе были выходы из катакомб, и мы мальчишками предпринимали туда походы, пока однажды не заблудились. И тогда вызывали роту поисковиков-солдат. Нас нашли, и входы эти замуровали.

Они там живут, и сейчас, сидя у входа, греются на солнышке. Ни по одежде, ни по лицам они неотличимы от моих дворовых приятелей. Мне кажется, я слышу их разговор, знаю тему и принимаю в нем живое участие.

Подхожу, сажусь с краю, вслушиваюсь.

*По улицам слона водили...*

По нашим улицам.

*Сапожник-портной, кто ты будешь такой...*

Считалка... Мы себя считали не через кого-то, но сапожник был рядом... и портной работал в нашем дворе, на дому... а через дорогу, в доме, рядом с которым была военного времени развалка, работал переплетчик.

*Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым... Он ощущал полено, как живое, в руке... С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни.\**



Варшава, Крахмальная улица – Молдаванка Варшавы\*\*

\* Осип Мандельштам. Египетская марка.

\*\* И. Ильф. Записные книжки за 1935 год.

*На одном крыльце сидели царь – царевич, король – королевич...  
Нельзя поверить, что это всамделишно, не понарошку, такие  
лица светлые и этот склеп-подвал, их родительский дом.*

*Так было у меня, на родной Молдаванке, и все мне кажется, что  
я среди них сейчас тоже, и я даже слышу, о чем мы сейчас говорим.*

Вход в какой-то подвал, черный, как дыра в преисподнюю, как будто бы здесь все горело, стены, земля перед входом, эти ступени, горело долго, и оставшееся осталось потому, что даже огню, очищающему все в нашей жизни, всю ее грязь и мусор, даже ему наконец опротивело здесь гореть. К этим ступеням, ведущим вниз, страшно даже приблизиться, не то чтобы стать ногой на ведущую в эту дыру ступеньку, – и там внизу живет двадцать семь еврейских семей!

...Мы со сцены ушли,  
но еще продолжается детство,  
наши роли суфлер дочитает,  
ухмылку тая...

Детство – это не возраст, не короткие штанишки, не...  
Это не временный переход из немовлят во взросление, из непонимания в знания, из...

Детство – это Страна. Великая держава человечества, где все настоящее, где все чистое и не замутненное прикосновениями наших жадных, наших грязных рук. Это такая страна, которую не завоевать никому, и в которой есть граждане – дети.

Эта независимая Великая держава. Там летают особые бабочки и гудят по-особому шмели, там иной цвет у небес и облаков, там подлинные знания о мире...

– ...жизнь подходит к концу,  
и опять начинается детство,  
пахнет мокрой травой  
и махорочным дымом жилья,  
продолжается детство без нас,  
продолжается детство, продолжается боль,  
потому что ей некуда деться...

Александр Галич. Последняя песня

Продолжается детство без нас.

Наши роли за нас дочитают дети, пришедшие в мир на наши места. Их встретит тот же мир, те же бабочки будут летать, так же будет охотиться кошка за мышкой, те же будут секреты – от нас, взрослых, утративших способность видеть и понимать.

Я иду двором и вижу их, обитателей нового мира, они что-то важное обсуждают. Мы здороваемся. Они ко мне хорошо относятся. Но это иные миры, и мне туда не попасть, никакие знания, никакая память, никакие попытки...

Поэтому я довольствуюсь немногим – здороваюсь. Могу спросить, над чем они там размышляют, без попытки услышать ответ и понять.

Можно изучить новую теорию, как откровение, в физике и математике, в планетарном движении, в построении космоса... но в мир, который тебя покинул, тебя позабыл, тебе не вернуться.



Серьезные дела

Это их беседа у этой ступеньки, их интерес и беспокойность, их слова, они звучат из космоса, и самое главное, они нам недоступны, мы не можем ввязаться и все погубить своим благожелательным участием.

И слава Богу, потому что если и есть надежда, она в их разговоре, в их словах и поступках. И только ради них Господь удерживает свою карающую руку, занесенную над нашими головами.

Почему же он ее не удержал тогда, когда эти малыши гибли?!

## Новелла вторая

### Накрахмаленные крылья, парусиновые перья

На одном крыльце сидели  
царь – царевич,  
король – королевич,  
сапожник – портной,  
кто ты будешь такой?

Это уж точно я, и даже место это, со ступенькой, я хорошо помню, и даже то, что мы там рассматриваем, важное, вспомнил, но вам не скажу. Который сидит, Валька, и девочка, они со второго этажа нашего дома. Вальку позвала мать, и мы эту проблему, над которой думали, тогда не решили. Это и есть основная причина всех последующих неурядиц в мире.

День, как белая невеста,  
Ночь, как фрак на аферисте...

Это нас вспоили медом  
Те янтарные помойки.  
Нам наплакала шарманка.  
Молдаванка.

Ночью ломтик лунной брынзы.  
Оловянный дождь к обеду.  
Накрахмаленные крылья.  
Парусиновые перья.

Молдаванка! Молдаванка!  
В перстенечках оборванка –  
Сине море нежит ножки,  
Солнце ниже белый жемчуг.

Всё хлопочем – жить не хотим,  
Фонари нахально мочим

Тоненькие финикийцы  
И дегтярные хохлы.

Лавочница, каторжанка,  
На копейку интриганка,  
Молдаванка... \*

Это белье, развешанное на канатах, натянутых поперек и вдоль двора, всякие простыни, рубашки, юбки, майки. Под ласковым ветерком колышутся рукава рубашек, и кажется, что эти две, на соседских канатах, летящие рядом, о чем-то говорят, о чем-то неведомом, неизвестном их хозяевам, и только я, вбежавший сейчас с улицы и остановленный дружным взмахом приветственных полотнищ, только я слышу, о чем, и могу различить их голоса.

Они, эти накрахмаленные крылья, на своих надежных и крепких парусиновых перьях однажды взмахнули в последний раз, набрались силы и оторвались от земли, от канатов, от дворовых сараев, и поднялись в высоту неба, смешавшись в веселом объятии с голубями, и потом, приняв правильный облик, ангелами детства они потянулись в небеса, в город, названия которому мы здесь на земле не знаем, и косноязычно, обозначительно говорим, переходя на шепот, – небесный Иерусалим.

Крутится вертится шар голубой,  
Крутится вертится над головой,  
Он крутится вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть...

Здесь тембр голоса и интонация, чуть задумчиво, не напоказ. *Кавалер-барышню...* с чуть грассирующим «р», с затягиванием на «а...а».

Мы, дети, пели иначе, не зная источника, мы пили из него без определений, пили чистую родниковую воду, холодноватую, горло чуть схватывало... и делало голос глубже, и делало взгляд...

---

\* Асар Эппель.

Мы пели: *«Крутится вертится дворник с метлой, / Крутится вертится по мостовой, / Он крутится, вертится, хочет узнать, / Чья это лошадь успела .....ть».*

Это чудесная еврейская песня, но мы, дети, ничего о евреях не знали, мы такого слова не знали, знали Йорика и знали от старших, что у него мать немка, но Йорик был наш, как мы, и к немцам, в которых мы в войну, наши-не-наши, играли, отношения никакого иметь не мог, он играл на нашей стороне... Не могу понять и припомнить, кто играл на противоположной, противной...

А рядом с нами лежали наши верные псы. Были они всех возможных оттенков цвета, как и у нас, их одежды были сшиты из чего пришлось и попало, из всех наличных земных цветов... были они отродясь нечесаны и немыты, жизнь знали, как и мы, не по учебнику, а отражением бытия, как страница Библии, были наши истины и принципы, незыблемыми и ненарушаемыми никогда, до самой смерти,

Мы пускали парусные кораблики, бумажные, после дождя бурные реки текли по обочинам наших улиц и пропадали на углах, в водосливных решетках. Куда они ушли, где теперь наши кораблики, в каких далеких подземных морях? Но, наверное, такой кораблик, сделанный из листочка ученической тетради в косую линейку, проплыв подземные реки и моря, выныривал в самой что ни на есть середине Тихого океана или в Атлантике, мы в те годы тихо знали географию, и там тихо плыл, покачиваясь на удивленных волнах, в сторону Америки, плыл тихо, раздумчиво, и пролетающий морской ангел из любопытства мог прочесть упражнение по арифметике, где 17 плюс 15 равнялось неведомо чему, потому что после знака равенства ответа не стояло. Ангел летел дальше, в сторону статуи Свободы (мы в эти годы знали несколько верных незыблемых клятв-заклинаний, и одной из самых серьезных, намертво то есть, была «век свободы не видать», явно взятая из лексикона эзков. Не помню, как это звучит на идиш.

Мы сидели на ступеньках у подъездов домов, в проходах дворовых и играли в карты, в шашки и даже в шахматы...

Я даже и не удивился насчет трех карт, я знал с детства, с подворотни, на ходу и бегу, это сочетание, тройка-семерка-туз, но провести меня, молдаванского мальчишку, было непросто, я бы

не поддался, потому что коню понятно, это работает, это может сработать, только если ты знаешь заветное слово, а ведь все заветные слова существуют только на русском языке...

Мы знали удивительные тайны о сокровищах, спрятанных в темных позабытых чуланах и сараях, и мы бесстрашно туда проникали, вымазанные в паутине.

Мы жили там, в нищете и скудности, там, где ругаются и говорят скверные слова, и вот странность, только сейчас я ее разглядел и вспомнил, мы никогда между собой не ругались этими грязными словами... Для нас ругательства были проявлением тяжести жизни, а мы не хотели тяжело жить, мы жили легко и воздушно...

Детей в наших громадных молдавских дворах было великое множество. Всех мыслимых возрастов, так что друзей хватало всем поколениям ребятишек. Там жила и плодилась нищета. В квартирах водопровода и канализации не было, и этим целям служил общедворовый, не отапливаемый, естественно, туалет и рядом расположенная водяная колонка. Зимой к ней невозможно было подойти, так она обледеневала и превращалась в ледяную гору.

В сараях держали уголь и дрова – в доме было печное отопление. Идешь, бывало, зимой по нашей улице, и изо всех многочисленных труб на укрытых снежными шубами крышах валит дым. Так щемяще красив город моего детства зимой – глубокий, отдающий вечерней синевой снег, свет запорошенных окон через расписанные морозом стекла, осязаемое тепло жилья.

Только в детстве дарован человеку такой снег! Эти снега былых времен тают со временем, как и наша жизнь.

Только детские глаза видят прекрасное в мире и мир прекрасным. Только глазами ребенка выросший и покинутый богами человек может вновь, пусть на самую малость времени, увидеть прекрасным мир. Несчастен человек, лишенный любви ребенка, он лишен оснований жизни и видит мир искаженным и безрадостным.

Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах.

Исаак Бабель. Конармия. Гедали

Двускатная крыша дома была утыкана трубами кирпичной кладки, их было множество, в два ряда по обоим скатам, и каждая дымила зимой. Зимы тогда были холодными и многоснежными. Печи топились, в каждой квартире была стенная печь-груба и плита. Тепло моего детства было иной природы, живой, осязаемой, близкой. Теперь оно приходит ниоткуда и уходит в никуда.

Чердаки и демоны, и ведьмы, и прочая сатанинская рать.

Был у нас голос, мы слышали его между слов взрослых, он говорил нам о том, что мир не так прост, как нас стали учить дома и в школе. В том нашем правильном мире было место и ангелам, и дьяволу было место, но дьявол был интереснее. Он, дьявол, всегда был интереснее ангела, он был смешной, не пыжился и ничего не требовал. Бывало страшно, он любил нас пугать и прятался по углам темных спален, притворяясь тенью.

Но мы-то знали – мы видели!

Ангелы, нам это растолковали взрослые, обитают в основном в храмах и на небе, и все свое время поют красиво и хором.

А дьявол и его подручные ребята живут среди нас.

И насчет летучей мыши, ведь любому, однажды увидевшему ее полет, становилось ясно, что к нашему привычному миру она не принадлежит, но ведь был мир, из которого она вылетала, внезапно срываясь с коньков крыш, достигая в паденье твоей головы и вновь ракетой взмывая в высоту ночи. Мальчишками мы знали, что опасно таким вечером быть в белой рубашке – она привлекает летучую мышь. А самые крупные летучие мыши назывались вампирами. Что вампирами могут быть не только мыши, но и люди, мы узнали позднее.

И сова. Тот, кто увидел сову, разве забудет ее глаза?!

(Я слышал чудную историю, как мышонок под вечер увидел летучую мышь и бросился к маме с криком: «Мама, я видел ангела!».)

Вглядываюсь и вижу там себя, среди них, таким же по возрасту, таким же по одежде и, главное, по интересам и занятиям этим интересным. Слышу слова бесед, рядом, чуть за спиной, у плеча. Станным образом легко узнаю и различаю их голоса.

Такое чувство, что они тоже меня узнают, разглядывают и заговаривают со мной.

## Новелла третья

### Это нас вспоили медом те янтарные помойки



Сестры. Экспедиция Ан-кого

Эти глаза закрыть нельзя.  
Это невозможно, никто  
и ничто, ни Бог, ни время  
не властны над этим взглядом.

Это живой взгляд.

Эти глаза на меня глядят  
сейчас, сегодня, неважно,  
какой был там год, и не су-  
щественно, какой сейчас за ок-  
ном, на дворе, на улице, в горо-  
де, в мире.

Это на меня они смотрят,  
это мне они задают вопрос,  
что будет, как будет, и будет ли  
этот обещанный многократно

и на земле, и на небе, счастливый мир.

Не ходи больше в музеи мира. Не бегай там по залам, причмо-  
кивая от восторга.

Глянь в эти глаза, и тебе уже ничего не потребуется для пони-  
мания сокровенной сущности нашего земного бытия.

## Новелла четвертая

### Кореша

– Где душа твоя, сын мой?

– Там, на свете широко, о ангел!

Есть на свете поселок, огражденный лесами,

Над поселком – пучина синевы без предела,

И средь синего неба, словно дочка-малютка,

Серебристая легкая тучка.

В летний полдень, бывало, там резвился ребенок,

Одиноким душою, полный грезы невнятной,  
И был я тот ребенок, о ангел.

Хаим-Нахман Бялик

Надо покопаться в этимологии этого слова, «кореша», но я просто так думаю, что это от слова «корень», «корешок», от длинного и узкого коричневого стручка акации, которым по осени устланы наши тротуары – идешь, а они шуршат под ногами, а если наступить, то их запах ни с чем не сравним, неповторим, кроме этих осенних дней и только у нас, в Городе, где тогда их так много, а того, чего так много, не ценишь. А в корешке, как в вагончике, как в длинной и узкой спаленке, спят малыши, спят, набираются сил, чтобы в свой срок выйти-выбежать в этот такой красивый, такой счастливый мир! Выбежать, как мы во двор, мы дворовые дети, поиграть, покричать, посмеяться!

Как вот эти ребята в ... году – как попавшие в объектив Романа Вишняка в 1939, как это было на моей Молдаванке в моем послевоенном детстве.

Однажды я был далеко от Родины, очень далеко и очень долго, и все у меня там было хорошо, дела и коллеги, и даже женщина, чужеземная, и у нее тоже было все, как у всех женщин.

И вот однажды я шел узкой улочкой маленького городка, ухоженного по-немецки, уютного по-нашему, вымытого и вообще... И наступил ногой на что-то подвижное и скользящее под ногой.



Дети бедняков Дубно. Экспедиция Ан-кого



Весь антураж из моего молдавского детства

Даже не наклонив еще головы, не глянув, не разглядев, я ощутил запах – корешка акации. Он был меньше нашего размером, темнее цветом, меньше в нем было семечек-ребрышек, проступающих сквозь плотную чешую, – но запах... ни с чем... никогда... нигде более...

И я, как дурак, на глазах удивленных немцев стоял и вытирал слезы!

Ну-ну, у нас не было песка в супе, разве что соседка соседке, а своим котам мы пели песни, и девочки наши своих кукол-любимцев одевали в шляпки и юбочки.

Это они сидят или бегут, или пускают кораблики, или... или... и на ходу, специально не останавливаясь, говорят о нас, о наших взрослых проблемах, о нашей взрослой жизни, которая для детей, жизнь их отцов во все времена человечества была и должна была быть образцом и примером, говорят... такое... чего нам не следует слышать.

Но, главное, вот в этих лужах, на этих обшарпанных стенах, в этих подземельях, где не столько жить, но куда человек никогда спускаться не должен, они были счастливы, вы только взгляните на них, бегущих улицами гетто, играющих на этих подранных тротуарах...

И как бы ни сгущались краски... как бы ни... это... даже это и даже такое... счастье!

Присмотрись к этим снимкам, внимательно, взглядишь, и ты узнаешь себя.



Бежим с нами! Если зовут играть, значит, видят  
меня мальчишкой

Мои кореша

*Роман Вишняк не добрался до Одессы. А предстоящая судьба у этих мальчишек и моих молдаванских ребят в этом 1939 году была общей.*

Если бы вернуться, к ним, туда, где я был счастлив, где каждый день был первым днем моей жизни, где было так интересно жить, где каждое слово было Словом и открывало мир, где они меня знали, не присматриваясь, не обсуждая, но просто обернувшись ко мне и позвав туда, куда бежали они...

Если бы...



У земных рубежей. Кораблик по луже-ручейку  
непреренно выберется к океану



Босиком по краю Вселенной. Отважные пацаны.  
Где это они бегут? Может быть, по моей  
Молдаванке?

*Бобров шел по дороге и думал: почему, если в суп насыпать песку, то суп становится невкусным?*

*Вдруг он увидел, что на дороге сидит очень маленькая девочка, держит в руках червяка и громко плачет.*

*– О чем ты плачешь? – спросил Бобров маленькую девочку.*

*– Я не плачу, а пою, – сказала маленькая девочка.*

*– А зачем же ты так поешь? – спросил Бобров.*

*– Чтобы червяку весело было, – сказала девочка, – а зовут меня Наташа.\**

...Катит гром свою тележку  
По торговой мостовой,  
И расхаживает ливень  
С длинной плеткой ручьевой.

---

\* Даниил Хармс. 1930.

И угодливо-поката  
Кажется земля, пока  
Шум на шум, как брат на брата,  
Восстает издалека...\*\*

Дождь. Свирепый и внезапный, как нашествие полочецкое, в степи поднимается пыль, ничего не видно и никого еще не видно, только испуганный ветер гонит пыль по-земом, но...

И вслед за ним, ниоткуда взявшись, из-за угла, наскоком, в косую клетку, вылетает конница и сечет, и рубит наотмашь, яростно и весело, все живое, все теплое, все мягкое, не успевшее спрятаться и убежать.

Мы под дворовыми навесами, за дверьми сарайными, за окнами.

Смех и радость.

Дождю и ветру нужны мы – достать, напугать, заставить бегать и прятаться. Это игра, еще одна игра в ряду наших любимых...

*В белые бессолнечные утра, зачерстневшие от холода и погруженные в будничные дела, они незаметно выходят из толпы, ставят на козлы шарманку на перекрестке улиц под желтой полосой неба, перечеркнутой телеграфными проводами, среди оступело спешащих людей с поднятыми воротниками и начинают свою мелодию, не с начала, а с того места, где прервали вчера...*

*И странное дело, едва зазвучав, мелодия тотчас вскакивает в свободный пробел, на свое место в этом часе и в этом пейзаже,*



1937 или 1938 год. Серьезная беседа.  
Не раз ношенные, переданные по наследству пальтишки.

Середина века, и он вглядывается в наши лица с надеждой, что мы справимся с предстоящим, что на нас можно положиться...

\*\* Осип Мандельштам. Стихи о русской поэзии. 2-7 июля 1932 года.

*как будто она всегда принадлежала этому задумавшемуся и затерянному в себе дню, и в такт ей бегут мысли и серые заботы торопящихся людей.\**

По дворам ходил точильщик. С криком: «Кому точить, ножи ножницы...». И ходил мастер-паяльщик, или как там его, с криком: «А вот кастрюли паять...».

Шарманщика в нашем детстве я видел всего несколько раз.

Под шарманку пели, девичий голосок, пронзительный. Это действовало на наших сердобольных женщин, и они выносили, кто что. Реже деньги, чаще что-нибудь из еды.

## Новелла последняя

По тротуару влево дружно шагают по какому-то срочному делу две женщины. Рядом кто-то заходит в лавку, дальше вышагивает в противоположную сторону семейная пара, старый крепкий еврей с торчащими во все стороны ушами пересекает улицу, и вид у него, как остановленное время и неизменно длящаяся вечность, за его спиной закутанные и замшелые какие-то старухи переходят дорогу...

У каждого дело, дела высокой срочности и необходимости, которые отложить нельзя... На самом деле все это суета и бессмыслица, их время здесь остановлено, и остановись оно в любом их прошлом и в любом предстоящем дне, дело это было бы точно такой же длящейся пустотой...

Случайные эти люди попали на снимки помимо своих намерений и воли, так случилось в секунды длящегося снимка, и это все, что от них навсегда осталось... Они, вероятно, об этом так никогда и не узнали. На этих снимках они просто идут по улицам города, стоят на перекрестках, садятся в трамвай и иногда случайно оглядываются в сторону фотографа, его не видя, и так на клочке фотобумаги остаются их лица, полные давно прошедших, всегда непростых забот, радостей и печалей...

---

\* Бруно Шульц. Санаторий под Клепсидрой.



Иногда на таких снимках в далекой перспективе чуть заметна маленькая человеческая фигурка, человек не успел еще войти под высокий уличный навес и исчезнуть в прохладном вестибюле магазинном, но благодаря только этому он и остался в истории мира, это и была вся цена его жизни! Как в живописи новых мастеров, где на человека приходится всего несколько небрежных мазков краски – и становится узнаваем человек, а всеми его радостями и печальми мы наделяем его сами, хорошо зная эту вечную тему, от страниц Ветхого Завета и до сегодняшнего нашего дня.

Все это неживое. Человек покидает мир постепенно, и большая часть живущих даже не догадывается, что на самом деле они мертвы, и многие из них так и не родились.

Здесь единственно важное, стоящее, обоснованное человеческой историей, ее смыслом, – то, на что смотрят так дружно эти молодые девчонки. Что-то они там такое увидели, дружно



Еврейское кладбище в Польше. Памятный камень с фотографиями Романа Вишняка

оглянувшись, что это было такое, кошка ли там перебегает доро-  
гу и несет в зубах котенка, собака ли напала на эту кошку, уже  
не узнает никто...

Люди не замечают, когда кончается детство,  
Им грустно, когда кончается юность,  
Тоскливо, когда наступает старость,  
И жутко, когда ожидают смерть.

Мне было жутко, когда кончилось детство,  
Мне тоскливо, что кончается юность,  
Неужели я грустью встречу старость  
И не замечу смерть?\*

Павел Коган, 1937 год

---

\* Он не встретил старость и не заметил смерть.

Эти дети не заметят, когда кончится детство,  
Они не успеют встретить юность,  
Но им не грозит предстоящая старость,  
А Смерть их обнимет, как Мать.

